

К 100-ЛЕТИЮ ЯГПУ

В.М. Чистяков

В ЯРОСЛАВСКОМ УЧИТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ (1909-1912 ГГ.)

В статье представлены воспоминания выпускника Ярославского учительского института Василия Матвеевича Чистякова, ставшего впоследствии доктором педагогических наук, специалистом в области преподавания русского языка для учащихся национальных школ.

V.M. Chistiakov

IN YAROSLAVL TEACHER'S INSTITUTE (1909-1912)

In the article memoirs of the graduate of Yaroslavl teacher's institute by Vasily Matveevich Chistiakov who has become subsequently a Doctor of Pedagogics, an expert in the field of teaching of Russian to the pupils of national schools are presented.

Мое детство прошло в деревне Александрово Нерехтского района Костромской области, здесь я родился 30 марта 1890 г. Грамотным из взрослых мужчин был один мой отец. Он вырос без матери, которая вскоре после родов умерла, и будучи последним ребенком в семье, пользовался особым вниманием настолько, что его целый год учил грамоте отставной солдат из соседней деревни.

Осенью 1901 г. отец отвез меня за пятьдесят километров в деревню Седельницы, где находилась церковно-приходская учительская школа. В мае 1904 г. я окончил эту школу и получил свидетельство. Вскоре я отправил его вместе с прошением в Хреновскую церковно-учительскую школу (так назывались учительские семинарии церковного ведомства). В июне 1907 г. я сдал выпускные экзамены, а в сентябре получил бумагу о назначении учителем Наволоцкой двухклассной церковно-приходской школы и немедленно туда отбыл. В 1909 г. я подал заявление в Ярославский учительский институт, и в один прекрасный августовский день отец повез меня на пристань Красное.

По пути к Ярославлю собралось нас на пароходе человек пять, едущих в одно место и с одной целью. В полушутливой беседе мы «экзаменовали» друг друга, в результате чего компания почему-то решила, что наибольшие шансы на поступление имеются только у меня, а остальным придется уповать на бога или на удачу (интересно, что это шутливое предсказание сбылось точно: принятым из компании оказался один я).

В институте мы узнали, что приехали держать экзамен более ста человек, что примут двадцать пять, из них десять – на казенную стипендию. Количество поступавших не казалось пугающим, ведь я ждал, что их придет больше.

Экзамены начались для меня весьма благополучно. Сочинение по литературе (на тему «Не характеризует ли героев поэмы Гоголя "Мертвые души" самое название ее») я написал отлично, о чем узнал на другой день от преподавателя истории В.Н. Липенского, отыскавшего меня, чтобы сказать о своем удовольствии от прочтения моей работы. Диктант я тоже написал на «пять». Из письменных работ по математике арифметическую задачу (не очень сложную) решил уверенно и быстро и по геометрии тоже получил высшую отметку.

После письменных испытаний был вывешен «скорбный список» «провалившихся», которых оказалось не менее половины от общего количества экзаменуемых.

Устные экзамены также прошли успешно. По русскому языку, литературе, истории, закону божию я отвечал уверенно, не боясь никаких вопросов, а по церковно-славянскому языку преподаватель П.О. Афанасьев поставил мне «пять», не спрашивая, как только узнал, что я хреновец. Шансы на поступление были достаточно велики. Я подсмотрел, что в списках экзаменуемых моя фамилия оказалась на первом месте.

Оставался один экзамен по биологии. Когда я шел его сдавать, меня остановил директор института М.А. Дроздов и спросил:

– Ваша фамилия Чистяков, кажется?
Я ответил утвердительно. Тогда он сказал:

– Ну, вас, кажется, можно поздравить с поступлением.

Я ответил, что еще остался экзамен по биологии, но М.А. Дроздов утешил замечанием о малой значимости последнего. Окрыленный надеждой, влетел я в кабинет преподавателя биологии. И тут меня ждал удар.

Преподаватель биологии И.В. Серебренников, слабый здоровьем и смертельно уставший от целого дня непрерывных вопросов экзаменуемым, тихо спросил меня:

– Скажите, кто такие `астоногие?

Последнее слово он произнес совсем тихо. Я не понял и попросил повторить.

– Г`астоногие, – повышая голос, повторил И.В. Серебренников.

Первый звук в слове он опять произнес неясно: то ли *з*, то ли *л*. О существовании каких-то «гастоногих» я не имел ни малейшего понятия и решился переспросить:

– Хвостонogie?

Экзаменатор вспыхнул:

– Да не хвостонogie, а г`астонogie, – выкрикнул он раздраженно.

– Не знаю, – испуганно вымолвил я, так и не поняв этого чертовски мудреного слова.

– Ну, например, тюлень, – постарался помочь мне преподаватель.

Про тюленя я мог бы, пожалуй, сказать несколько слов. Но тут уже настолько растерялся и застыдился, что машинально повторил:

– Не знаю.

– Совсем ничего? – весело переспросил он.

– Совсем ничего, – печально подтвердил я.

– Ну, тогда идите, – сказал экзаменатор.

И я пошел вон из кабинета, еле сдерживая слезы.

Итак, все пропало: планы, надежды, труды. Правила приема я знал хорошо: не выдержавшие экзамена хотя бы по одному предмету не могут быть приняты, независимо от оценок по другим предметам. Знал я и то, насколько точно выполнялись инструкции в тогдaшнее время.

«Итак, все кончено!» – вспомнилось мне почему-то из «Дубровского». Кабинеты и

коридоры опустели. Народ разошелся. А я все стоял у окна и думал, что теперь делать. За документами идти не хотелось, все еще теплилась какая-то надежда на чудо. Не хотелось погибать из-за тюленя, которого я в жизни не видал и вреда ему не делал. Решил я ждать до утра, спрятаться за пословицу «утро вечера мудренее». Ночь не спал, ходил по опустевшей комнате, которую все ехавшие со мною на пароходе товарищи уже покинули, провалившись на экзамене раньше меня. Уехал домой и мой постоянный до этих пор спутник по всем школам и дорогам Сергей Разумов, не сдавший экзамен по закону божию.

На другой день все, чающие поступления, собрались в зале института. Пришел и я. Вошел М.А. Дроздов и объявил, что сейчас прочтет список принятых, причем первые десять по списку – стипендиатами, остальные – на свое содержание. Сердце застучало до боли. А он читает громко, отчетливо, выразительно.

– Евтеев... Ефанов... Угрюмов... Любимов... Чистяков...

Дальше я ничего не слышал и, обезумев от радости, выбежал на улицу. Принят!

Потом во время пребывания в институте мне очень хотелось узнать, чему я обязан поступлением. Ужели «в изъятие из правил»? Это казалось невероятным. Спросить я стеснялся, да и не принято было выдавать экзаменационных тайн. Только спустя лет двадцать пять как-то в товарищеской беседе профессор П.О. Афанасьев сказал мне, что своим поступлением я обязан педагогическому совету института: «Мы всем советом вымолили у Ивана Васильевича для вас "тройку с минусом"». Значит, правила остались незыблемыми. Членам совета легче было прибегнуть к обману, чем их нарушить.

Ярославский учительский институт был организован за год до моего поступления, в 1908 г. С первого же времени своего существования он приобрел славу «красного», то есть довольно по тому времени либерального. Этим он в значительной степени был обязан Михаилу Алексеевичу Дроздову, настоящему дипломату, умевшему одинаково ладить как с воспитанниками (так назывались слушатели института), так и с начальством. М.А. Дроздов умело защищал институт от чужого глаза и от чужих ушей.

Никто посторонний не имел никакого доступа к тому, что делается в стенах института, кто там находится и чем занимается. Все сношения с внешним миром велись им самолично, те, кому что-либо было надо по институтским делам, обращались непосредственно к директору.

А внутри института создалась довольно свободная атмосфера. Преподаватели сами составляли программы и читали свои курсы без чужого контроля. Слушатели тоже находили возможность выражать свое мнение относительно программного содержания отдельных дисциплин, и преподаватели прислушивались к нему. Так, например, по предложению слушателей менялись программы по рисованию, был введен курс истории искусства, преподавателя традиционного «закона божия» слушатели заставили читать историю религий.

Все предметы излагались лекционно. Преподаватели читали свои курсы, как хотели: по конспектам, по установленным пособиям и без них. В общем, курсы по всем предметам были очень обширные.

Посещение лекций считалось обязательным, однако никакой регистрации не было, и слушатели по-своему понимали подобную обязательность. На лекциях по основным предметам присутствовали обычно все, а в остальных случаях бывало и по пять-шесть человек. Считалось, что все лекции посещаются неукоснительно и в какой-либо регистрации нет надобности. И это было правильно. Слушатели были серьезные. За исключением двух-трех человек весь наш курс состоял из народных учителей. Все приехали учиться, а не баклуши бить. Опекать нас, как детей, не требовалось.

Размещались слушатели института по частным квартирам по двое, по трое, реже четвером или пятером. Мне попался хороший товарищ в лице Н.А. Таланова, впоследствии известного методиста-математика. Мы прожили все три года вдвоем, помогая друг другу. За квартиру с отоплением, самоваром и стиркой белья платили девять рублей в месяц. Обед в институтской столовой, достаточно сытный, стоил двадцать две – двадцать три копейки, что обходилось в месяц около семи рублей на брата. Булки по предварительной договоренности представителя института мы брали в одной булочной вечером

из остатков, платя за пятикопеечную булку три с половиной копейки. На чай и сахар уходило в месяц немного больше рубля на двоих. Я прокуривал в месяц копеек шестьдесят, а Таланов не курил. За вычетом некоторых расходов на баню, мыло и прочую мелочь из семнадцатирублевой стипендии у меня оставалось еще рубля два, а то и три на непредвиденные расходы.

Главным «поглотителем» этих непредвиденных расходов был театр. Старый Волковский театр в Ярославле имел хорошую труппу и славился своими постановками. Новое, теперешнее, его здание было как раз тогда построено. Билет на галерку стоил от восемнадцати до двадцати пяти копеек. Мы считали своим долгом увидеть все постановки театра, а это стоило не менее рубля в месяц. А тут еще бывали концерты или публичные лекции, и их нам хотелось посетить. Культурные потребности требовали своей доли в бюджете.

Водки мы не пили совершенно. Во всем институте можно было насчитать едва ли пять-шесть человек, имевших к ней пристрастие. Очень редко мы позволяли себе кружку пива в одной из наиболее «культурных» пивных. Кружка стоила пять или шесть копеек, а пока ее пьешь, можно было почитать газеты и посмотреть журналы.

В общем, свое материальное положение я считал хорошим. Семнадцати рублей стипендии вполне хватало на насущные потребности, вдобавок я жил с настоящим математиком, считавшим каждую нашу копейку. Таланов был старше меня на два года, при этом хладнокровнее, расчетливее, скупее. Он безжалостно и подолгу «пил» меня, если я проявлял пренебрежение к денежным расчетам, а если я необдуманно тратил пятак или гривенник, тут уж совсем от него два-три дня житья не было. Обижаться я не мог, так как товарищ всегда был прав.

Я был рад, что по крайней мере из дома не пришлось требовать никакой помощи. Потом даже родным стал изредка привозить копеечные подарки, так как самому стало кое-что перепадать сверх стипендии: то переписка какая рублевая подвернется, то урок, то ввосемьмером обедню споем в домово́й церкви губернатора графа Татищева и получим за это по рублю. Словом, оставалось только учиться.

Учились мы все усердно. Утром сидели на лекциях, вечерами занимались дома. Во время лекций преподаватели старались как можно больше сказать и как можно больше указать книг для дополнительного чтения. Учебников, строго говоря, не было ни по одному предмету. Отвечать на экзаменах приходилось только по записанным лекциям и самостоятельно прочитанным книгам. От такого способа преподавания выигрывали так называемые гуманитарные науки: литература, история, педагогика и другие, требующие книжного изучения. Наоборот, науки, требующие экспериментального изучения и опытов – физика, химия и другие – сильно проигрывали, так как никаких лабораторий в институте не было, физический и химический кабинеты существовали только в проекте.

Лекции кончались к двум часам дня. Потом мы обедали в небольшой закрытой институтской столовой и расходились по квартирам, где продолжали заниматься самостоятельно: обрабатывали записи лекций, читали указанную литературу, писали доклады, а каждые полгода – специальное домашнее сочинение на свободно избранную тему.

Экзамены были дважды: в декабре и в мае-июне. Проводились они в часы расписания лекций, записывалось по два человека на один академический час. Сколь усердно мы занимались вообще, столь же усердно готовились к экзаменам. Отвечали хорошо, «провалов» я не помню, получить «три» считалось позором, а для стипендиата грозило лишением стипендии. Некоторые преподаватели, да и мы, считали экзамены своего рода публичным отчетом о своих занятиях, поэтому наиболее смелым из нас нравилось, когда на экзамене было много народу. А наш историк В.Н. Липенский так сам бегал по институту и сообщал:

– Завтра в двенадцать экзаменуются у меня Чистяков и Таланов, приходите слушать.

При таких условиях, конечно, нельзя было появляться на экзамене неподготовленным. В этом случае не приходили вообще. Хороший же ответ при товарищах окрылял экзаменуемого.

У каждого преподавателя была своя манера читать лекции и своя манера экзаменовывать. Математик Б.К. Чачхиани (впоследствии доцент МГУ) читал свои лекции скудно и

вяло, обращаясь больше к доске, чем к слушателям. У него можно было получить «пять» на экзамене, не сказав ни одного слова. И сам он не любил тратить слов. Помню один свой экзамен у него.

Когда я подошел к столу, он вынул из кармана пачку билетов, взял один из них, посмотрел на него и сказал, обратясь ко мне: «Формула Мальвейде». Потом сунул все билеты опять в карман, подошел к окну и стал глядеть на улицу. А я подошел к доске и стал писать.

Когда я исписал большую половину доски, Б.К. Чачхиани подошел и стал смотреть, что я пишу. Когда я дописал и поставил точку, он мотнул мне головой и промычал:

– Угу.

Я все понял, поклонился и пошел домой. В результате оба остались довольны: он произнес всего два слова и один нечленораздельный звук, я не произнес ни одного слова и получил «пять» за ответ.

Так довольно однообразно, но содержательно шли наши занятия. Из необязательных занятий я уделял внимание и время только пению. Преподавателем пения в институте был директор музыкального училища Д.М. Кучеренко. Он объединил наш мужской хор с большим хором своего училища, состоявшим почти из одних женских голосов. Получилось мощное хоровое соединение до сотни голосов. В училище приезжали иногда из Москвы известные певцы того времени В.Р. Петров, В.П. Дамаев и другие, не гнушавшиеся выступать у нас солистами. Мы давали изредка публичные концерты, имевшие успех.

Из общеобразовательных предметов все были обязательными. Нас готовили быть преподавателями всех предметов в высшем начальном училище, имевшем программу примерно объема теперешней семилетки. По окончании института я действительно мог преподавать в высшем начальном училище любой из общеобразовательных предметов, кроме черчения и рисования. Графического таланта, к сожалению, у меня не было и нет. И хотя в полученном мною по окончании института аттестате среди других пятерок значится и пятерка «в черчении, рисовании и чистописании», верно тут указано только чистописание. Что же касается черчения и рисования, то моя рука оказалась к ним не склонной, и мне это почему-то пришлось.

Единственный поданный мною в институте для отчета рисунок с изображением вороны имел только мою подпись, а саму птицу нарисовал мне (довольно плохо) сосед по парте Я.В. Вернигора.

Хотя мы учились для преподавания всех школьных предметов, каждый из нас готовил себя только к одной специальности, правда, широкого профиля. Я знал, что буду преподавать русский язык, литературу и историю, в крайности – географию и даже пение, но никогда физику или биологию. Естественно, что своими предметами занимался в первую очередь, а остальными – лишь для экзамена.

Главное внимание и наибольшее количество времени занимали у меня занятия по русскому языку и литературе, а также по методике преподавания русского языка. Мой преподаватель, а впоследствии сослуживец и большой друг Петр Онисимович Афанасьев, поощрял мои занятия, предлагая литературу для прочтения, хвалил мои сочинения. У меня сохранились многочисленные записки и некоторые из сочинений того времени. На одном из них на тему «О знаках языка в их историческом развитии», занимающем шестьдесят четыре страницы убористого текста, значится обширная рецензия П.О. Афанасьева и оценка «пять с плюсом».

Я старался добросовестно читать все, что указывал преподаватель, будь то книги или статьи в журналах. Библиотеки в Ярославле были богаты книгами, так что можно было найти почти все, что требовалось. По привычке, сохранившейся от учительской семинарии, я любил делать выписки из прочитанного, не стесняя себя их размерами. Так, например, посвященную памяти Пушкина статью Ключевского «Евгений Онегин и его предки», помещенную в журнале «Русская мысль» 1887 г., я списал целиком и выучил почти наизусть. Такие записки очень помогли мне в последующей учительской работе.

Большое внимание уделял я дидактике и методике русского языка. Психологию, педагогику и дидактику в институте преподавал сам М.А. Дроздов. Читал он довольно гладко, по запискам, но все его лекции носили характер передачи чужих мыслей и пересказа чужих текстов, своих мнений он не высказывал, а может, и не имел. Поэтому на его лекциях мы просто накапливали сведения о разных

педагогических теориях и дидактических взглядах большого количества западноевропейских и некоторых русских ученых (Ушинского, Пирогова, Толстого). Главное же достоинство его преподавания, как мне казалось, заключалось в указании большого перечня фамилий и произведений, которые мы могли бы прочесть самостоятельно. И мы читали по его указаниям и Руссо, и Песталоцци, и *Orbis Sensualium pictus* Яна Амоса Коменского, и античных философов. Разбираться в разных теориях мы должны были самостоятельно. Разбирались ли и как именно, преподаватель, насколько я помню, никогда не спрашивал. Он задавал только два вопроса: «Что вы читали?» и «Что говорит этот писатель (или ученый)?». И вполне довольствовался ответами на эти вопросы.

По методике русского языка я читал Гальденбрандта «О преподавании отечественного языка», двухтомник Паульсена о методах обучения грамоте, Ушинского, Буслаева, а по методике преподавания литературы – ничего, кроме критических статей и сочинений Белинского и Писарева (Чернышевского тогда не читал и не знал). И никакого курса методики литературы не было, была просто методика чтения. Поэтому знакомство мое с методикой было чисто теоретическим.

Такое ее изучение никак не увязывалось с той методической практикой, которую мы должны были проводить и проводили в образцовом высшем начальном училище при институте. Здесь мы давали уроки по своему излюбленному предмету в любом избранном классе училища. Я дал всего два или три урока по русскому языку, провел их достаточно плохо, хотя при анализе они были признаны отличными. Я увидел здесь, что уроки, подготовленные и данные в искусственной обстановке, с предугадыванием всех возможных вопросов и ответов, редко бывают удачными. С тех пор я перестал ценить подробные конспекты уроков, предпочитая им краткие планы с простым перечислением конкретного материала: упражнений, текстов, задач.

Методическая практика в образцовом высшем начальном училище при институте не дала мне много нового. Мои уроки в четвертом и пятом отделениях (классах) Наволоцкой школы мало чем отличались от уроков в первом и втором классах здесь, а уроки в третьем и четвертом классах училища мало

чем отличались от уроков в первом и во втором. Насколько я видел, и другие мои товарищи среди учителей не очень ценили эту методическую практику. Из методических занятий я вынес, помимо теоретических сведений, ту пользу, что познакомился почти со всеми существовавшими в то время учебниками и пособиями для школьников и, сравнивая их, стал понимать целесообразность применения разнообразных методических приемов, убедился, что один и тот же урок можно провести по-разному, используя разные учебники, с одинаково удовлетворительным результатом. Еще я понял тогда, сколь верно и мудро сказал Л.Н. Толстой, что самый лучший метод – тот, которым лучше владеет сам учитель.

В июне 1912 г. я окончил Ярославский учительский институт с золотой медалью, а 1-го июля женился. Невеста терпеливо ждала три года, пока я учился в институте, учительствуя в это время в одной из самых захолустных начальных школ в деревне Протасиха Макарьевского уезда среди знаменитых керженских лесов, так картинно описанных Мельниковым-Печерским. В школе была на три отделения (класса) одна учительница.

Поженившись, остаток лета мы провели в моей деревне, а затем опять разъехались: жена снова отправилась в свою Протасиху, а я получил назначение учителем 2-го высшего начального училища в город Кинешму, всего

в десяти километрах от знакомых мне Наволок.

После Кинешмы по рекомендации М.А. Дроздова я работал в Тверском высшем начальном училище. Далее – война, служба в царской армии, работа в Твери, служба в Красной Армии, возвращение в Тверь, устройство в школах детей Поволжья, организация и работа на рабфаке, в пединституте, в школе, работа над новыми учебниками, работа в Средней Азии. Затем Москва: заведование кафедрой языка и литературы в ЦИПККНО (так назывался Центральный институт повышения квалификации кадров народного образования). По приглашению из Ярославля я стал ежемесячно выезжать туда на несколько дней для чтения лекций в педагогическом институте. Заведующим учебной частью там оказался мой ученик по тверскому рабфаку, успевший к тому времени вырасти до научного работника. В 1941-1942 гг. – военная служба в Рязани, затем в 1943-1964 гг. – работа в Москве в НИИ национальных школ АПН РСФСР. Разрабатывал основы методики преподавания русского языка для учащихся национальных школ.

Работой своей я доволен и нахожу, что профессия учителя-методиста – одна из самых лучших на свете. Если бы был объявлен конкурс счастливых людей я, пожалуй, рискнул бы выставить свою кандидатуру.